

Проклятие зверя

Автор:

[Леонид Андреев](#)

Проклятие зверя

Леонид Николаевич Андреев

«Я боюсь города, я люблю пустынное море и лес. Моя душа мягка и податлива; и всегда она принимает образ того места, где живет, образ того, что слышит она и видит. И то большая она становится, просторная и светлая, как вечернее небо над пустынным морем, то сжимается в комочек, превращается в кубик, протягивается, как серый коридор между глухих каменных стен. Дверей много, а выхода нет – так кажется моей душе, когда попадает она в город, где в каменных клетках, поставленных одна на другую, живут городские люди...»

Леонид Николаевич Андреев

Проклятие зверя

Посвящается А. М. А.

Я боюсь города, я люблю пустынное море и лес. Моя душа мягка и податлива; и всегда она принимает образ того места, где живет, образ того, что слышит она и видит. И то большая она становится, просторная и светлая, как вечернее небо над пустынным морем, то сжимается в комочек, превращается в кубик, протягивается, как серый коридор между глухих каменных стен. Дверей много, а выхода нет – так кажется моей душе, когда попадает она в город, где в каменных клетках, поставленных одна на другую, живут городские люди. Потому что все эти двери – обман. Когда откроешь одну, за ней стоит другая; и когда откроешь эту, за ней видна еще и еще; и сколько бы ни шел по городу,

езде ты увидишь двери и обманутых людей, которые входят и выходят.

И я боюсь города, его каменных стен и людей его, у которых маленькие, сжатые, кубические души, имеющие так много дверей и ни одного свободного выхода. Но бывает иногда, – и причину этого явления знает только таинственная душа моя, – но бывает иногда: вдруг очарует меня далекий город. Так далек я от него, что даже зарева ночных огней его не вижу; так далек я от него, что даже не слышу его грохота – и вдруг он кажется мне близким, вдруг он протягивает ко мне свои каменные пальчатые руки и зовет с величавым укором.

– Глупый человек, пересыпающий между пальцами морской песок и следящий бесконечное движение его! Нет голоса у морского ветра и слуха нет у волн его, – зачем же стучишь ты в дверь, которая замкнута навеки? Посмотри на меня. Разве я не такое же море, как и это, и мало простора в берегах моих? И дома мои – волны, и грохот мой – грохот бури; и улицы мои – течения, и недра мои – пучина. Погрузись же в меня! Одинокий, стань одною из моих маленьких волн; обособленный, растворишься в их однородности; великий, умалишься их малостью; единый, умножишься их множеством. Иди же ко мне!

Так говорит лживый город и протягивает каменные пальчатые руки. И тогда трепещет моя обольщенная душа, порываясь; и тогда прижимаюсь я к ней, к моей возлюбленной, к той, которую я люблю больше всего на свете, и шепчу ей с ужасом:

– Ты слышишь? Город зовет меня.

Бледная, она говорит:

– Посмотри: вот над морем идут облака. Это хоронят умершего героя. Ты видишь титанов в багряных плащах, шагающих так важно? Их волосы разметались, лица их суровы и грозны, и нет на них печали. Они хоронят умершего героя.

– Я не хочу смотреть на небо!

Бледная, она говорит:

– Послушай: вот поют волны и ударяет в литавры прибой.

– Я не слышу! Я не вижу: меня зовет город. Мне чужды облака, эти бесформенные, безобразные груды сгустившихся паров; холодом и тиной дышит на меня плеск волны, безразличием вечности пугает меня огненный закат. Я хочу милых, подвижных людей, которые говорят так понятно; я хочу каменных домов, я хочу электричества, которое я сам зажигаю, сам гашу! Ты помнишь, как ночью под окнами поют гудящие трамваи, – как по асфальту щелкают копыта, – как пахнет мокрой пылью, – как тесно движется горячая толпа, – как над громадою домов горят на черном небе огненные слова, золотые, зеленые, красные...

– «Шоколад и какао»... Ты про эти слова говоришь?

– Да, «шоколад и какао». А что говорит мне солнце? Вечность. А что говорят луна и звезды? Вечность и тайна. Я не хочу вечности и тайны. Я хочу шоколада и какао. Я хочу, чтобы и на небе было написано то, что я понимаю, что сладко и не пугает меня.

– Хорошо, – говорит она и улыбается нежно. – Иди. Но там тебе будет плохо, и я пойду с тобою.

Возлюбленная моя! Ограждающая от зла и смерти! Творящая добро и жизнь! Возлюбленная моя! Люди видят тебя как женщину, а ты – великая и светлая тайна, священный престол, у которого надо молиться. Если бы я умирал, ты сказала бы: твоя могила темна и сыра, боюсь, что там будет плохо тебе, – пошла бы за мною. Если б умирала ты, и я бы сказал: не умирай, ты не знаешь, как мне будет плохо без тебя, – ты преодолела бы смерть и жить осталась бы ты. Если бы я сказал... Кто ты, светлая тайна?

Я суечусь, я в радостной, хлопотливой тревоге. Это уже не лес и не пустынное море, это вагон, наполненный людьми. Все мы сидим, и нас всех вместе везут в город; у всех вещи: чемоданы, картонки и саки, и у меня чемодан, картонка, сак. Все суется, хватают вещи, толкаются, зовут носильщика, и я тоже. И все мы, не я один, как в лесу, – и все мы дружно идем к выходу и садимся на извозчиков. Номер моего извозчика: 14 800.

Ее я все время немного забываю, но в карете, где нас почему-то лишь двое, я благодарно смотрю в ее усталое лицо и целую руку:

- Правда: как весело, как шумно? Как много народу! Смотри: идут солдаты.

- У тебя усталые глаза.

- Это ничего. Так ты будешь ждать меня?

- Да, - когда ты придешь.

Упрямая, она хочет поселиться в отеле, который в самом конце города, почти там, где начинается большой городской лес. И со мной в город идти не хочет, говорит, что там, на улицах и в ресторанах, она мне не нужна. Это правда, я все время немного забываю ее, и как будто она несколько отдалилась от меня. Как будто это множество людей, мужчин и женщин, частицу которых составляем мы, разъединяет нас, ее делает похожей на всех женщин в розовых шляпках, меня - на всех мужчин в черных шляпках. И минутами даже странно: почему я говорю ей «ты»? Почему она говорит мне «ты»? Но приятно.

В отеле нас и еще каких-то двух дам и господина поднимают на лифте - всех вместе. В лесу, или на берегу моря, людей всегда видишь издали, а здесь мы, незнакомые, так близки, что лица кажутся огромными, особенно носы. Странно подумать, что и у меня должно быть такое же огромное, носатое лицо, и мне неловко, все кажется, что где-то что-то у меня не в порядке. Потом нам отводят комнату, номер 212-й. Направо и налево по коридору такие же двери и комнаты, и во всех них живут. Под нами, под полом, еще три этажа, и там все такие же комнаты и двери, и везде живут. Как много людей в городе! А там, внизу, щелкают по асфальту подковы, поют гудящие трамваи, что-то движется, переливается бесконечно, и, охваченный восторгом, я распахиваю окно и кричу, поверх крыш и верхушек деревьев, туда, в сизую дымчатую даль, где колокольни и трубы и какие-то блестящие шпили:

- Город! Город! Город!

Потом быстро оплескиваю водою лицо, торопливо ем и пью что-то, что подают всем, наскоро целую ее, - и туда, вниз, на улицу, где бурлит и грохочет это море. Поскорее стать одною из этих маленьких волн, умалиться их малостью, умножиться их множеством, растворить свое одинокое, сумасшедшее «я» в однородности всех этих таких же одиноких, сумасшедших «я», сделавшихся «мы».

– Город! Город!

То был смутный и странный день, и мне трудно его вспомнить и рассказать, как сон. Я хорошо помню форму всех облаков, какие я видел когда-либо на небе; я твердо помню бледное лицо морской бури, несущейся с визгом на скалы; и все деревья в лесу, и все цветы в поле, – о них я мог бы рассказать, потому что я их помню. Но как запомнить то, что так похоже одно на другое, что движется так странно – что известно и неизвестно, что есть я и не я? Одно я знаю: оно охватило меня, и, как сон, овладело мною оно; и душу мою оно истерзало; и еще более одинокой и дикой стала она; и там, где глаза мои видели «шоколад и какао», там нашла она новую, еще более горькую тайну. Ибо тайной этой стал я сам: единый и множественный, растворенный и нерастворимый, человек и человечество.

...Возлюбленная моя!

Помню, что сперва, по выходе из отеля, я отдался толпе. И она подхватила меня и понесла вдоль каменных домов, мимо блестящих, безумно богатых, пестро изукрашенных витрин; и двери, двери, двери, и зеркальные стекла, отражающие белые рубашки, перстни и лица, и милая, горячая, увлекательная толпа. Я двигался, как и все; и как бы я ни шел, быстро или медленно, и что бы я ни делал: останавливался ли у витрин и разглядывал выставленные вещи, ожидал ли на перекрестке удобной минуты, чтобы под мордами лошадей и перед толстыми колесами дрожащих автомобилей перескочить на другую сторону; и закуривал ли я сигару; и входил ли я в магазин; и покупал ли я газету, и вставлял ли я в петлицу купленный цветок, – я роковым образом отражал движения и поступки других, толпы; я удваивал, утраивал их, повторял бесконечно.

И целый час, быть может, больше, я наслаждался, как никогда; что-то вроде фамильной гордости испытывал я при мысли, что я похож на всех людей, как и они на меня, что я тоже принадлежу к этому великому и славному семейству. Что такое носовой платок? Так, пустяки, маленькая, печальная необходимость. Но когда он у одного, у двух, у всех, – он становится символом, маленьким белым знаменем братства. Мы все употребляем носовой платок; эта старая, избитая истина, ставшая незамечаемым шаблоном, вдруг наполнила меня чувством нелепого восторга и трогательного расположения к людям. Нисколько не сговариваясь, приехавши с разных концов света, говоря на разных языках, –

вдруг оба мы, и я и он, вынимаем из кармана платки, разворачиваем, одинаковым движением подносим к лицу и... раз! готово.

– Почему, когда проходит поезд, все, даже незнакомые люди, размахивают платками, именно носовыми платками? – фантазировал я. И с наслаждением отыскивал все новые и новые сходства, все новые и новые фамильные черты... И то, что уже вскоре должно было ужаснуть меня, – эта роковая, трагическая похожесть того, что должно быть различно, эта убийственная необходимость для каждого влезать в одну и ту же форму: иметь нос, желудок, чувствовать и мыслить по одним и тем же учебникам логики и психологии, – радовало меня, как ребенка, в эти первые часы общения моего с городской толпой. Очень возможно, что в это время я напевал про себя или насвистывал что-то веселенькое, как и некоторые другие счастливицы, двигавшиеся рядом со мною.

Неприятное началось постепенно, и началось оно с того, что эти общность и сходство, которым я радовался, стали проникать несколько глубже, чем я бы хотел. Выразилось это первоначально в очень неопределенном и смутном чувстве, что я не совсем тот, каким был и каким желал бы остаться; а вскоре целый ряд маленьких поступков, которые я начал совершать давно уже, но заметил только теперь, привели меня к открытию, что воля моя, равно как и желания мои, потеряли свою самостоятельность и в значительной степени подчинены воле и желаниям других людей. И я уже встретил одного, двух, трех, одетых, как я: такие же шляпы, такая же материя на платье и ботинки; и у всех у нас роза в петлице. И уже увидел я одного, двух, трех, похожих на меня лицом, – и вот уже не принадлежит мне мое платье, и лицо мое не принадлежит мне. Так же с волею и желаниями моими: прежде была моя воля и мои желания, а теперь они наши, общие, как и роза в петлице.

Разве я любил когда-нибудь стоять и рассматривать галстуки или дешевые безделушки из терракоты и скверного фарфора или безобразно раскрашенные фотографические портреты усатых господ? Почему же теперь я стою и рассматриваю жадно? Разглядываю ярлыки и соображаю что-то, и вдруг, охваченный нестерпимым, бешеным желанием покупать всю эту дрянь, всю эту мерзость, о которой стыдно будет вспомнить там, на берегу моря, устремляюсь в предательскую дверь, толкаю кого-то и извиняюсь, и покупаю, покупаю. И возле себя я вижу таких же растерянных господ, с натянутой улыбкой выбирающих вещи, за которые им попадет впоследствии от жены и от собственной совести. Зачем я приобрел эту зелененькую ящерицу из жести, которую некуда девать? Только потому, что дешево. Но разве я любил когда-нибудь дешевые вещи? И

зачем я купил этот отвратительно пестрый, невыносимый галстук, от которого лицо тотчас же принимает все типичные черты дегенерата? Ведь я же его никогда не надену – даю в этом клятву.

Помню, я еще смеялся вначале; но уже вскоре веселость эта, несколько искусственная, утонула в новом, особенном чувстве, постепенно овладевавшем мною. Это было чувство торопливости, боязни опоздать куда-то, чего-то не успеть. И стоял ли я беззаботно у витрины, или так же по виду беззаботно двигался с толпою – внутри меня непрестанно трепетала какая-то маленькая секундная стрелочка и погоняла меня: скорее, скорее! Скорее иди, скорее смотри, скорее кури свою сигару! У моря целыми часами я мог лежать, не шевелясь, и пересыпать песок между пальцев так медленно, как будто целая вечность передо мною, а тут я, свободный, незанятый, фланер, – изнывал под незаметными ударами какого-то острого бича: скорее, скорее! И вот тогда я стал вместе с ними, со всеми этими торопящимися людьми, прыгать на гудящие трамваи и ехать куда-то. И сперва это успокаивало меня: я стоял на площадке, курил, не торопясь, и добродушно смотрел на улицу, которая вся целиком, лавиной экипажей, автомобилей и велосипедов движется куда-то вместе со мною.

Но было ли в самом движении что-то такое, что вызывало желание двигаться еще быстрее, увлекала ли меня толпа, эти люди, которые так торопливо входили в вагон и выходили, и прыгали, я стал покорно перепрыгивать с одного трамвая на другой, с трамвая на железную дорогу, с железной дороги на подземную, электрическую. Всей массой, торопливо, громко стуча каблуками по асфальту, мы подходили к кассе, бросали деньги, потом через одну-две ступеньки бежали куда-то, вверх или вниз, под стеклянную, закопченную крышу или в голубой свет больших электрических фонарей, освещающих подземную станцию. Там мы рассыпались по перрону, а вагоны уже подбегали и забирали нас, как песок забирает воду, или выбрасывали нас из других, и громко хлопали двери, и вот уже несемся мы в глубокой тьме, или где-то наверху, между черных, глухих стен, закопченных дымом, испещренных огромными вывесками. Как много домов, как много стен, глухих, черных, страшных! В них нет ни дверей, ни окон, – и вдруг кажется: это не дома, это – огромные каменные гробницы, и весь живой город замуравлен в них.

И вот тут стало мне жутко и беспокойно; казалось, я что-то потерял, и это потерянное есть мое я. Уже случилось так у одной кассы, что я сказал кассирше, бросая деньги:

– И вот этому дайте билет.

При этом я твердо ткнул себя пальцем в грудь, чтобы она не ошиблась. Как будто недостаточно и непонятно было бы, если бы я сказал: дайте билет мне. Потом в одном из вагонов, кажется, железной дороги, я наткнулся на одну очень неприятную и даже несколько испугавшую меня встречу. Когда я уже сидел, против меня занял место какой-то господин, самый обыкновенный господин в котелке, с небольшими усиками. На нем было черное пальто с бархатным воротником, коричневые перчатки, и в руках он держал тросточку с серебряной ручкой, – таких тросточек я много видел в магазинах и как раз одну купил для себя. Подробнее описать я его не могу, так как он бы совершенно обыкновенен. На одну, на две минуты я отвернулся, чтобы посмотреть в окно: мы перелетали какую-то бесконечную, широкую, движущуюся улицу, и когда взглянул вновь, то с мгновенным испугом увидел: рядом с ним сидел другой, точь-в-точь такой же господин. Это не было сходство, допустимое даже в лесу, – это было тождество, это было безумное превращение одного в двоих, чудовищная зеркальность, наводящая на мысль о призраке. И они сидели, до ужаса одинаковые, думали о чем-то, конечно, до ужаса одинаковом, и руки их, у того и у другого, лежали на палках с серебряными ручками. Боже мой, но ведь и у меня есть такая палка! И что было самое ужасное и непонятное: ни они сами, ни кто-либо другой не замечали этого безумного тождества, и все были спокойны.

– Позвольте мне спичку, я забыл свои, – говорю я несколько дрожащим голосом.

– Я не курю.

Он говорит, он не призрак! И вдруг другой, улыбнувшись приветливо, протягивает мне спички – он курит. Он не совсем похож на этого – он курит! Милый человек, если бы ты знал, что все твое человеческое держится только на том, что ты куришь, а он нет, ты не выпускал бы сигары изо рта, ты спал бы с нею, ты приказал бы мертвому тебе раздвинуть рот и всунуть туда огромнейшую гаванну с золотым ярлыком! И пусть при воскресении мертвых ты явишься с нею к престолу Судии, Он простит тебе эту вольность, мой милый брат!

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/leonid-andreev/proklyatie-zverya>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)